

Как мы хоронили Сталина

Поздно вечером, скорее даже ночью с 5 на 6 марта донельзя усталый отец возвратился домой, в квартиру № 95 на пятом этаже дома № 3 по улице Грановского. Пока отец снимал пиджак, умывался, мы: мама, сестры, Радин муж Алеша и я молча ожидали в столовой. Наконец отец появился из двери, сел поглубже на покрытый серым холщовым чехлом диван и устало вытянул ноги.

– Сталин умер. Сегодня. Завтра объявят, – произнес отец после мучительно длинной паузы.

Отец прикрыл глаза. У меня комок подкатил к горлу, и я вышел в соседнюю комнату.

«Что же теперь будет?» – промелькнуло у меня в голове.

Переживал я искренне, но мое второе я как бы со стороны оценивало мое истинное состояние. Заглянув в себя поглубже, я ужаснулся: глубина горя никак не соответствовала трагизму момента. Я перестал всхлипывать и вернулся в столовую.

Отец, полуприкрыв глаза, продолжал сидеть на диване. Мама и сестры застыли на стульях вокруг стола.

– Где прощание? – спросил я.

– В Колонном зале, – как мне показалось, равнодушно и как-то отчужденно ответил отец и после паузы буднично добавил. – Очень устал за эти дни. Пойду посплю.

Отец тяжело поднялся и медленно направился в спальню. Я до сих пор хорошо помню каждое его движение, интонацию. Поведение отца поразило меня: как можно в такую минуту идти спать! И ни слова не сказать о НЕМ. Как будто ничего не случилось!

Наутро, как обычно, я отправился в институт. Я учился на первом курсе МЭИ – Московского энергетического института имени В. М. Молотова. Занятия начинались в 8 утра. Ехал на метро до станции «Бауманская», дальше к институту студентов вез 37-й трамвай. Когда я выходил из метро, на домах только развешивали траурные флаги. Через двадцать минут переполненный, как обычно, трамвай доставил нас на место. На парадных колоннах главного учебного здания МЭИ флаги уже висели.

Мой соученик-первокурсник Эдик Соловкин, он жил в общежитии, запомнил, что учебный день начался по расписанию общей для всего курса лекцией в огромной, на полторы сотни человек аудитории Г-201. Здание состояло из несколько корпусов-разветвлений, обозначавшихся буквами: А, Б, В, Г. В тот день мы занимались в «Г». Обычно лектор появлялся по звонку, минута в минуту, на сей раз прошла минута, пять, десять, и никого. Студенты сидели тихо, ожидание томило своей совершенно определенной неопределенностью. Мы отлично понимали, почему не начинаются занятия, почему отсутствует лектор, знали, что сейчас появится секретарь парткома факультета или комсомольский секретарь и произнесет подобающие случаю слова. И несмотря ни на что мы боялись этих слов. Однако никто не пришел, ожидание прервалось приглашением на траурный митинг в актовом зале института. Он располагался в том же здании и вмещал всю первую смену.

Наш поток пришел одними из первых, зал заполнялся долго, не менее сорока минут. Наконец все расселись. На сцене за длинным столом разместилось институтское начальство. За спиной президиума стоял высоченный, до самых верхних кулис, портрет Сталина. Он был там всегда, сколько я себя, первокурсник, помнил. Сейчас его раму перевивала красно-черная лента.

С портретом меня связывала не очень для меня приятная история. В сентябре 1952 года, когда «новобранцев» грузили общественной работой, я стал фотографом в факультетской стенгазете. Снимал я неплохо, но главное – у меня был фотоаппарат «Киев-Контактс» с фотоэкспонометром и двумя сменными объективами, широкоугольником и телевиком. Невиданная роскошь в те времена. К поручению я отнесся со всей ответственностью, к тому же я любил фотографировать. Но моя карьера фотографа оборвалась сразу после Нового года. В газете поместили отчет о концерте самодеятельности в конференц-зале и мою фотографию студенток в национальных костюмах, танцующих украинский народный танец на фоне все того же портрета Сталина. Из-за громоздкости его со сцены не убирали никогда.

Фотография как фотография – весьма средненькая. Никто на нее внимания не обращал, и вдруг газета, не провисев и неделю, исчезла, а меня вызвали в комитет комсомола. Кто-то очень бдительный заметил, что танцоры у меня красуются в полный рост, а портрет Сталина получился только по плечи, без головы. С меня потребовали объяснений. Я наивно ответил, что снимал девочек-студенток, а на Сталина как-то внимания не обратил, голова просто не влезла в объектив. Мер ко мне не приняли, но от фотографирования отлучили. Пока я смотрел на портрет, начался траурный митинг.

Ораторы сменяли друг друга, звучали привычные, затертые фразы. Кто говорил, не помню, что говорилось, тоже не помню, но студенты сидели тихо, кое-кто даже всплакнул. Наконец речи закончились, всех попросили разойтись по аудиториям, занятия продолжались по расписанию. На обратном пути в аудиторию я отметил, что у дверей деканата, парткома, комитета ВЛКСМ и просто в торцах бесчисленных институтских коридоров появились обращенные траурными лентами портреты Сталина.

Что происходило в оставшуюся часть дня, я не запомнил, в день, когда умер он, в голову не шли ни физические законы, ни математические формулы. Наконец подошла последняя пара, два часа слесарной практики, и меня осенило: всей группой надо немедленно идти в Колонный зал прощаться со Сталиным.

Моих товарищей-студентов долго уговаривать не пришлось. Сначала мы решили с занятий попросту удрать, потом благоразумие взяло верх, неорганизованных нас к Колонному залу и близко не подпустят. Я пошел в комитет комсомола советоваться, вернее, рассказать о нашем намерении. Факультетский секретарь Гена Лисицын отреагировал на мои слова неуверенно, никаких распоряжений он еще не получал, но и отказать в такой инициативе, да еще Хрущеву, не посмел. Стал названивать в институтский партком. Там уже получили разнарядку на прощание, и нашу инициативу одобрили. Гена повеселел, но решил, что одной группой идти негоже, двинемся всем факультетом. Через какое-то время студенческая колонна шагала привычным маршрутом праздничных демонстраций из Лефортова, по тем временам дальней окраины, к центру города. Шли мы сначала вдоль линии 37-го трамвая – по Красноказарменной улице мимо желтых каменных зданий Бронетанковой академии, по мосту через Яузу, оставили слева Туполевское конструкторское бюро, справа, по улице Радио (теперь Гороховое поле) – к старому зданию Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Тут 37-й трамвай сворачивал на Бауманскую улицу, а мы пошли прямо, мимо Строительного института, Театра Транспорта (сейчас Театр имени Гоголя) и повернули направо – на Садовое кольцо, на улицу Чкалова (Земляной вал).

Стоял зябкий, противный, пробирающий до костей влажный мороз. Жизнь в городе замерла. Не только в Москве, но и по всей стране отменили концерты, театральные представления, собрания. Белели еще вчера пестревшие объявлениями афишные щиты и тумбы – ночью их оклеили огромными чистыми листами бумаги. Страна погрузилась в траур, не притворный, потому что так приказано, а всамделишный. Казалось, она не выйдет из него никогда.

Подуставшая студенческая колонна вразнобой шагала по тротуару, рассчитывая при первой возможности двинуться куда-нибудь влево, в центр города. Миновав пару заблокированных военными грузовиками переулков, мы обнаружили, что идущая к Колонному залу улица Чернышевского (Покровка) свободна, и не просто свободна, но почти пуста. По Садовому кольцу транспорт еще двигался, а вот по улицам, ведущим к центру, уже не ходили ни троллейбусы, ни машины. Людей на Покровке тоже оказалось на удивление мало. Мы собрались на похороны Сталина одними из первых. О доступе к телу Сталина в Колонном зале Дома союзов по радио объявили часа в три, а мы пустились в путь чуть позже полудня. К тому же, от цели мы находились еще далеко.

Мы оказались одними из первых, но далеко не самыми первыми, как докладывал на следующий день Хрущеву, председателю Комиссии по организации похорон, Секретарь Московского городского комитета партии Иван Васильевич Капитонов, наиболее расторопные пришли к Колонному залу еще утром, к восьми часам, когда у нас в МЭИ еще не начался траурный митинг, там растянулась живая лента людей, желавших в числе первых пройти у гроба, проститься с родным и любимым товарищем Сталиным.

Итак, мы свернули налево, по Покровке колонны двигались очень быстро, то и дело переходя на бег, но у Бульварного кольца путь нам преградила цепочка солдат. Стоявший впереди командир заворачивал всех направо, на Чистопрудный бульвар, повторяя как заведенный: «Проходите, проходите». Пошли направо. На бульваре выстроившиеся в шеренги солдаты разрезали толпу на два потока и прижимали ее к тротуарам. От проезжей части нас отделяли плотно приставленные друг к другу, бампер к бамперу, военные грузовики. Городские власти так предохраняли от увечий зеленые насаждения бульвара, не подумав, что теперь нам, идущим к Сталину, податься просто некуда. Двигавшиеся вольготно по

Покровке сотни и тысячи людей превратились в две длинные ленты. Мы еще не напирали один на другого, но уже дышали друг другу в затылок.

Толпа тем временем начала волноваться. Чистопрудный бульвар привести нас к Колонному залу не мог, и все старались найти хотя бы щелочку, чтобы просочиться влево, к центру. Но не тут-то было: улицу справа от нас наглухо отгородили грузовики, уходящие налево переулки перегораживали цепи солдат, твердивших: «Проходите, проходите...» Людей на бульваре толпилось все больше. Мы уже не бежали, постепенно спрессовываясь в единую массу, медленно стекавшую по бульвару вниз. Миновали Кировскую (Мясницкую), пересекли Сретенку и вышли на Рождественский бульвар. Мы рассчитывали добраться бульварами до улицы Горького, она и выведет нас напрямиком к Дому Союзов, к Колонному залу, где лежит Сталин.

Обстановка к тому времени накалилась не на шутку. Согласно уже упоминавшемуся мною докладу Капитонова, к двум часам дня людская толпа заполонила Пушкинскую улицу (Большую Дмитровку), Страстной и Петровский бульвары. Толпы людей проталкивались к центру города по улицам Горького (Тверской) и Чехова (Малая Дмитровка), по Цветному и Рождественскому бульварам. На Рождественском бульваре разрозненные колонны, в том числе и мэвская, единой массой покатились под уклон к Трубной площади. На Трубной перед нами открылся ведущий налево к Колонному залу и никем не блокированный Неглинный бульвар. Толпа устремилась туда. Так в ливень широко разлившийся по асфальту поток воды, завихряясь, с шумом всасывается в узкое горло колодца и, заполнив его, образует на поверхности водоворот, крутящий и сталкивающий оставшиеся на поверхности щепки, листья и иной мусор. На Неглинном бульваре оказалось еще теснее, чем на Рождественском, людей становилось все больше, ряды стоявших вдоль тротуаров военных грузовиков по-прежнему прижимали нас к стенам домов. А тут еще новая напасть: в конце бульвара, там, где Неглинный бульвар переходит в собственно улицу Неглинка, толпа уткнулась в борта очередного заслона из грузовиков. Вместо того чтобы двигаться вперед, людям снова предлагали свернуть направо, в сторону Петровки. Согласно милицейской диспозиции, как я теперь понимаю, все людские ручейки направлялись к Пушкинской улице (Большой Дмитровке), чтобы по ней общим потоком проследовать к Колонному залу. Вот только в милиции не рассчитали, что поднимется вся Москва, и не только Москва, переполнятся пригородные электрички и поезда, следующие к московским вокзалам. Наступало то, что принято называть столпотворением. Протолкнуть людей намеченными с утра маршрутами более не представлялось возможным. Людское море захлестывало Москву.

Чтобы не допускать в Москву иногородних и тем самым хоть как-то разрядить обстановку, отец попросил министра путей сообщения Бориса Павловича Бещева принять меры. Уже со второй половины дня 5 марта повсеместно прекратили продавать билеты на Москву, затем отменили все пригородные поезда. Но рвавшихся к Сталину людей уже не могло остановить ничто. В Орле, Туле, Рязани, не говоря уже о Подмоскowie, толпы людей захватывали автобусы, грузовики, тракторные прицепы, грузились в редкие тогда легковушки, и вся эта армада двигалась к Москве. На узких однополосных шоссе скопились невиданные ранее очереди. К пяти часам дня 5 марта затор растянулся до Серпухова, а к вечеру автомобильный хвост дотянулся до самой Тулы. Не лучше обстояли дела и на других дорогах. Милиция получила распоряжение перекрыть въезды в Москву.

Тем временем людской водоворот на Трубной закрутил и нашу колонну, то притискивая одного к одному, то растаскивая по одиночке. Пока внутри толпы еще оставались щели, Гена Лисицын собрал остатки нашей группы, тех, что удержались вместе, и приказал ребятам взяться крепко под руки, образовать кольцо, двойное, тройное, как получится. Внутрь кольца он согнал всех девчонок. Мы упорно стремились пробиться к устью Неглинной улицы. Толпа порой помогала нам в этом, но когда казалось, что мы уже у цели, отбрасывала нас назад к

Цветному бульвару. Становилось все очевиднее, что к Колонному залу нам не пробраться. К сожалению, понимание пришло слишком поздно, когда толпа на Трубной уже превратилась в единый многоголовый организм. Сзади, с боков нас обволакивала упруго пружинящая людская масса. Порой она сжималась до такой степени, что становилось трудно дышать. Беспорядочное броуновское движение на Трубной продолжалось. Наконец нас подтащило к Неглинному бульвару и даже затянуло в него. Но никого это больше не радовало. Кружок наш давно разорвали на части, но мы пытались держаться вместе, ребята каждый на свой лад защищали оказавшихся поблизости девушек.

Стемнело. В свете фонарей отсвечивало сплошное поле человеческих голов с повисшим над ним беловатым облаком пара, выдыхаемым тысячами ртов. Толпа вжимала солдат в громады их военных грузовиков, и они один за другим ретировались в крытые брезентом кузова. Оттуда они наблюдали за толпой. Стоявшие внизу передавали из рук в руки наверх не державшихся на ногах стариков, пожилых женщин и, с особым удовольствием, симпатичных девушек. Скоро грузовики переполнились.

Толпа то замирала, то начинала двигаться вновь. Минуты сцеплялись в часы. Наступила ночь. Мысль о Колонном зале сменялась заботой о том, как бы отсюда выбраться. Однако выхода не находилось, толпа стала столь плотной, что попытка пробуравиться к краю улицы оборачивалась пустой тратой невероятных усилий. Стало совсем холодно. Особенно мерзли ноги, но сдвинуться с места не представлялось возможным. Мы попали в ловушку. Жутко хотелось в туалет или хотя бы в ближайшее парадное, там потеплее, и сами понимаете... Но парадные теперь оказались столь же недостижимыми, как и Колонный зал. Людская толпа слилась в единый организм многометрового извивающегося червя. Как червяк от любого прикосновения начинает извиваться, так и мы, плотно прижатые друг к другу, то семенили по Неглинному бульвару, то подтягивались назад к Трубной. Периодически толпа сжималась, но, когда казалось уже совсем стало невогнать, давление неожиданно спадало, «червяк» распадался на индивидуумы, каждый сам по себе пытался сдвинуться с места. Тут вдруг приходили в действие какие-то силы, снова все спрессовывались вместе и, увлекая друг друга, единой толпой колебались, несколько метров вперед, затем чуть-чуть назад. Амплитуда нарастала, затем энергия толпы иссякала, и все замирало вновь. Что служило источником движения, я не видел. Страха я не испытывал, возможность несчастного случая в голову не приходила, просто хотелось домой, в тепло, и родители беспокоились. Так продолжалось до утра.

Об этой ночи на Трубной много написано: и новая «Ходынка», сотни и даже тысячи трупов, и люди, проваливавшиеся в открытые канализационные люки, «проходившие сквозь» – через витрины магазинов и выбивавшие двери парадных...

Моему сокурснику Эрику Соловкину как самое страшное на Неглинке запомнились фонарные столбы. Ведь если придавит к нему, то расплющит в лепешку, сломает ребра. Тренированный спортсмен, Соловкин делал все возможное, чтобы избежать контакта с ними. С другой стороны, он вспоминал, как «Сергея Хрущева, студента первой группы, прижало к злосчастному столбу. Он пытался оттолкнуться, но безуспешно. К счастью, толпа вдруг колыхнулась в сторону, его оторвало от столба и понесло дальше».

Я этого столба и вообще столбов абсолютно не запомнил. Не расплющивался я о них и не видел других расплющенных. У каждого из нас своя память и свои страхи.

Поэт Евгений Евтушенко, как и я, оказавшийся в ту ночь на Трубной, в книге «Волчий паспорт» тоже с ужасом вспоминает о столбе, но не фонарном, а светофорном, о раздавленной об него девчонке, о трупах, по которым ему приходилось шагать. Игорь Васильевич Бестужев-Лада, социолог-футуролог, в тот день тоже попал на Трубную, да еще вместе с женой, правда, ненадолго. Их «спас какой-то сержант, крикнувший, чтобы они на карачках пролезли наружу под огромными военными фургонами-грузовиками. Оказавшись на

внешней стороне, они слышали дикий вой сотен людей, погибавших под грудой тел...» Такое впечатление, что мы «проводжали» Сталина в разных местах. На самом деле это всего лишь услужливость подсознания, трансформирующего общепринятый стереотип в псевдо, а затем в просто «реальность». Такое случается со многими, особенно с людьми впечатлительными.

Я раздавленных людей в ночь с 5 на 6 марта на Трубной площади не видел. Но это тоже ни о чем не говорит.

Нет сомнений, люди в ту ночь гибли. Вот только сколько? Моя жена Валентина Николаевна Голенко, в марте 1953 года шестилетняя девочка, жила с родителями неподалеку от Рождественского бульвара в общежитии Авиационно-технологического института. Она помнит раненых людей, которых притащили студенты МАТИ с Трубной площади. Они лежали в вестибюле, потом их унесли куда-то. В здании неотлучно находился представитель районного МВД, он сидел у окна, наблюдал за происходившим на бульваре. При нем обсуждать происходившее боялись. Пересуды моя жена услышала на следующий день, когда они с бабушкой отправились на Сретенку в булочную. В очереди собрались постоянные покупатели-пенсионеры, они перечисляли не вернувшихся домой родственников и знакомых, говорили, что в моргах так много трупов, что своего найти очень трудно.

С годами и десятилетиями события той трагической ночи обрастали леденящими душу, подробностями. К примеру, отставной офицер КГБ А. Саркисов написал в 1993 году в «Московских новостях», что ту ночь он дежурил в Институте Склифосовского и видел около четырехсот трупов. Он утверждает, что всех погибших свозили к ним по указанию главы Московского горкома партии Екатерины Алексеевны Фурцевой.

В те же, девяностые годы прошлого века, Евгений Евтушенко снял фильм о стоянии на Трубной, в нем тысячи, многие тысячи погибших; дворники, на следующее утро сметавшие в огромные кучи оторванные пуговицы.

Можем ли мы доверять цифрам и фактам, приводящимся по памяти сорок лет спустя? Тут все зависит от нашего желания верить или не верить.

Теперь давайте заглянем в официальные сводки. Сохранилась докладная Московского горкома партии Хрущеву, сообщавшая, что к 8 часам вечера 6 марта во 2-ю клиническую больницу у Петровских ворот доставлено двадцать девять пострадавших, в том числе двадцать тяжелых: сдавленная грудная клетка, переломы ног. В другой справке говорится, что к десяти часам в шесть медпунктов, развернутых в районе Неглинной, доставлено тридцать пострадавших, почти половину из них препроводили в больницы. О погибших ничего не сообщается, видимо, их свозили в Склифосовского или в морги.

В марте 1956 года, выступая на VI Пленуме Польской объединенной рабочей партии, отец сказал, что в первую ночь прощания со Сталиным в Москве погибло от разных причин сто девять человек. 13 мая 1957 года, выступая на совещании в ЦК КПСС перед писателями, он повторил: «Во время похорон Сталина задушили более ста человек» и снова, уже в 1962 году, тоже в мае, 16 числа, в городе Варна в Болгарии: «Когда умер Сталин, в давке задушили 109 человек».

Для столь огромного города, как Москва, и в тех обстоятельствах, жертв могло быть гораздо больше. Конечно, тут же раздадутся возгласы, что это неправда! А что правда? Я верю отцу. Цифру погибших он, безусловно, знал и хорошо запомнил. Во всех трех приведенных выше случаях никто его за язык не тянул. И говорил он не по заранее написанному тексту, так что о продуманной подтасовке не может быть и речи. К тому же, и называл он эту цифру (109 погибших) не в контексте малости потерь, а сожалея, какая пропасть народа принесла себя в жертву ради лицемерия останков Сталина.

Я простоял на Трубной до утра 6 марта. Светало, один за другим гасли фонари. Толпа поредела, за ночь многие дворами и подъездами просочились на волю. Замерзшие, помятые

люди возвращались по домам. Разошлись и мы. Я пробирался через Пушкинскую, Тверскую и Моховую. Улицы перегораживали военные патрули, за военными – милиция, а дальше – синие фуражки войск МГБ. К счастью, у меня с собой оказался паспорт со штампом прописки на улице Грановского. Старший патруля, внимательно изучив странички документа, неизменно брал под козырек.

Наконец я дома. Казалось, я вернулся из долгого и далекого путешествия. Отец с матерью всю ночь не спали и, услышав звук открываемой двери, вышли в прихожую. Выглядели они неважно, особенно мама. Я не услышал ни слова упрека, мама только спросила, где я пропадал. Подробно рассказывать о ночных перипетиях сил не было. Я сказал, что из института мы всем факультетом пошли прощаться с товарищем Сталиным, но пробиться не смогли и ночь провели на улице. Только дома я ощутил, насколько промерз. Прошли в столовую. Отец сел за обеденный стол, а мы с мамой напротив. Мама поставила чай.

– Зачем ты это затеял? – как-то тускло проговорил отец. – Мы уже не знали, что и думать, звонили и в милицию, и в больницы, и в морги. Ты себе представить не можешь, что в городе делается. По правде говоря, не чаяли, что ты жив.

Позднее отец рассказывал, как той страшной ночью, они с Кагановичем пробрались в район Трубной, как уговаривали людей разойтись. Но все тщетно. Толпа никогда не поддается ничьим уговорам.

Мы попили чаю. Уже совсем рассвело. Отец засобиравшись на работу, наступавший день сулил новые хлопоты, но такого, как в ночь с 5 на 6 марта больше не повторилось, в город ввели дополнительные войска, в центр пропускали ровно столько, сколько за день могло пройти через Колонный зал. Людская цепочка растянулась на многие километры, в толпу ей не позволяли превратиться стоявшие через каждые два метра военнослужащие. Лишних отсеивали на дальних подступах к центру города.

– Хочешь посмотреть на Сталина, завтра, вернее сегодня, после того как поспишь, я возьму тебя с собой в Колонный зал, – предложил мне на прощание отец.

Слова отца резко диссонировали с моим настроением возвышенного страдания.

Такое прозаическое прощание с... Я не смог подобрать подходящее слово, любое казалось недостойным величия скорбного момента. Все это хождение по морозным улицам, стояние на площади оказалось ненужным, можно просто зайти в Колонный зал и посмотреть на покойника, как на мумию в музее или бегемота в зоопарке. Эти мысли мелькнули и исчезли. Сил возразить не осталось.

Часов в двенадцать дня я на присланной отцом машине поехал в Колонный зал. Охранник провел меня через специальный подъезд и предоставил самому себе. Так что я мог смотреть на покойного вождя, сколько мне заблагорассудится. И не просто смотреть! В небольшой комнатке, позади установленного на постаменте гроба, набирали добровольцев в почетный караул. Накануне в нем стояли отец с другими членами Президиума ЦК, члены правительства, министры и прочие важные люди. Сегодня постоять пару-тройку минут у гроба мог любой, любой из допущенных в зал и узнаваемый охраной. Охрана меня узнала и беспрекословно пропустила в комнату. Там выстроилась живая, как в гастрономе, очередь. Я стал в хвост. Очередь продвигалась медленно, без очереди проходили члены начавших прибывать иностранных делегаций. Но тем не менее, она двигалась. На выходе служители прикрепляли английскими булавками на правый рукав, чуть выше локтя, широкую красную с черной каймой, повязку, формировали очередную партию в четыре группы каждая, кажется, по трое, инструктировали кому где находиться у гроба и пропускали в дверь. Рядом другие служители снимали траурные повязки с рукавов, уже отстоявших свою вахту. И так через каждые две-три минуты.

Наконец подошла наша очередь. Экипированный и проинструктированный, я встал у гроба Сталина в ряд с какими-то двумя незнакомыми дядьками. Никаких особых чувств

в минуты, отведенные на стояние в почетном карауле, я не испытал. Боялся оступиться, упасть, перепутать шеренгу. Вчерашний надрыв постепенно проходил.

Минуло еще несколько дней. Сталина хоронили на Красной площади. Я стоял рядом с Мавзолеем, на гостевой левой, если стать лицом к ГУМу, трибуне. Было еще холоднее, чем в ночь на Трубной, но холод скрашивался разносимым по рядам горячим глинтвейном. Гости в ожидании траурной процессии переговаривались, делились новостями, но не шутили и анекдотов не рассказывали.

Траурный митинг вел отец, выступили Маленков, Берия и Молотов. После приличествовавших моменту речей Сталина поместили в Мавзолей, на котором за эти морозные дни сменили надпись: вместо «Ленин», теперь появились два имени: